

Александр Герцен

БЫЛОЕ И ДУМЫ

II

МЕМОУАРЫ

УДК 82-94
ББК 83.3(2Рос=Рус)
Г41

Герцен, А.

Г41 Былое и думы II / А. И. Герцен. — М. : T8RUGRAM, 2018. — 268 с.

ISBN 978-5-521-76634-5

Александр Иванович Герцен (1812–1870) — публицист, писатель, философ XIX века, либерал, сторонник революционных преобразований, один из виднейших критиков официальной идеологии и политики Российской империи.

«Былое и думы» — автобиографический роман, над которым автор работал почти шестнадцать лет, был признан мировым шедевром мемуарной литературы. Герцену удалось блестяще изобразить образ русского революционера, а также составить настоящую энциклопедию, отражающую быт, нравы и общественную жизнь России середины XIX века. Эта книга позволит читателю переосмыслить свою жизнь и получить ответы на многие важные вопросы.

УДК 82-94
ББК 83.3(2Рос=Рус)
BIC FC
BISAC FIC000000

ISBN 978-5-521-76634-5

© T8RUGRAM, 2018

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Тюрьма и ссылка
1834—1838

ГЛАВА I

Пророчество. — Арест Огарева. — Пожар. — Московский либерал. — М.Ф. Орлов. — Кладбище.

...Раз весною 1834 года пришел я утром к Вадиму; ни его не было дома, ни его братьев и сестер. Я взошел наверх, в небольшую комнату его, и сел писать.

Дверь тихо отворилась, и вошла старушка, мать Вадима; шаги ее были едва слышны, она подошла устало, болезненно к креслам и сказала мне, садясь в них:

— Пишите, пишите, — я пришла взглянуть, не воротился ли Вадя; дети пошли гулять, внизу такая пустота, мне сделалось грустно и страшно, я посижу здесь; я вам не мешаю, делайте свое дело.

Лицо ее было задумчиво, в нем яснее обыкновенного виднелся отблеск вынесенного в прошедшем и та подозрительная робость к будущему, то недоверие к жизни, которое всегда остается после больших, долгих и многочисленных бедствий.

Мы разговорились. Она рассказывала что-то о Сибири.

— Много, много пришлось мне перестрадать; что-то еще придется увидеть, — прибавила она, качая головой, — хорошо-го ничего не чует сердце.

Я вспомнил, как старушка, иной раз слушая наши смелые рассказы и демагогические разговоры, становилась бледнее, тихо вздыхала, уходила в другую комнату и долго не говорила ни слова.

— Вы, — продолжала она, — и ваши друзья, вы идете верной дорогой к гибели. Погубите вы Вадю, себя и всех; я ведь и вас люблю, как сына. Слеза катилась по исхудалой щеке.

Я молчал. Она взяла мою руку и, стараясь улыбнуться, прибавила:

— Не сердитесь, у меня нервы расстроены; я все понимаю, идите вашей дорогой, для вас нет другой, а если б была, вы все были бы не те. Я знаю это, но не могу пересилить страха, я так много перенесла несчастий, что на новые недостает сил. Смотрите, вы ни слова не говорите Ваде об этом, он огорчится, будет меня уговаривать... Вот он, — прибавила старушка, поспешно утирая слезы и прося еще раз взглядом, чтоб я молчал.

Бедная мать! Святая, великая женщина!

Это стоит корнелевского «qu'il mourût»¹.

Пророчество ее скоро сбылось; по счастью, на этот раз гроза пронеслась над головой ее семьи, но много набралась бедная горя и страху.

— Как взяли? — спрашивал я, вскочив с постели и щупая голову, чтоб знать, сплю я или нет.

— Полицмейстер приезжал ночью, с квартальным и казаками, часа через два после того, как вы ушли от нас, забрал бумаги и увез Н.П.

Это был камердинер Огарева. Я не мог понять, какой повод выдумала полиция, — в последнее время все было тихо. Огарев только за день приехал... и отчего же его взяли, а меня нет?

Сложив руки нельзя было оставаться, я оделся и вышел из дому без определенной цели. Это было первое несчастье, падавшее на мою голову. Мне было скверно, меня мучило мое бессилие.

Бродя по улицам, мне, наконец, пришел в голову один приятель, которого общественное положение ставило в возможность узнать, в чем дело, а может, и помочь. Он жил страшно далеко, на даче за Воронцовским полем; я сел на первого извозчика и поскакал к нему. Это был час седьмой утра.

Года за полтора перед тем познакомились мы с В.; это был своего рода лев в Москве. Он воспитывался в Париже, был богат, умен, образован, остер, вольнодум, сидел в Петропавловской крепости по делу 14 декабря и был в числе выпущенных;

¹ «Ему следовало умереть» (франц.).

ссылки он не испытал, но слава осталась при нем. Он служил и имел большую силу у генерал-губернатора. Князь Голицын любил людей с свободным образом мыслей, особенно если они его хорошо выражали по-французски. В русском языке князь был не силен.

В. был лет десять старше нас и удивлял нас своими практическими замечками, своим знанием политических дел, своим французским красноречием и горячностью своего либерализма. Он знал так много и так подробно, рассказывал так мило и так плавно; мнения его были так твердо очерчены, на все был ответ, совет, разрешение. Читал он всё — новые романы, трактаты, журналы, стихи и, сверх того, сильно занимался зоологией, писал проекты для князя и составлял планы для детских книг.

Либерализм его был чистейший, трехцветной воды, левого бока между Могеном и генералом Ламарком.

Его кабинет был увешан портретами всех революционных знаменитостей, от Гемпдена и Балби до Фиески и Арман Кареля. Целая библиотека запрещенных книг находилась под этим революционным иконостасом. Скелет, несколько набитых птиц, сушеных амфибий и моченых внутренностей — набрасывали серьезный колорит думы и созерцания на слишком горячительный характер кабинета.

Мы с завистью посматривали на его опытность и знание людей; его тонкая ироническая манера возражать имела на нас большое влияние. Мы на него смотрели как на делового революционера, как на государственного человека *in spe*¹.

Я не застал В. дома. Он с вечера уехал в город для свиданья с князем; его камердинер сказал, что он непременно будет часа через полтора домой. Я остался ждать.

Дача, занимаемая В., была превосходна. Кабинет, в котором я дожидался, был обширен, высок и *au rez-de-chaussée*²,

¹ В будущем (*лат.*).

² В нижнем этаже (*франц.*).

огромная дверь вела на террасу и в сад. День был жаркий, из сада пахло деревьями и цветами, дети играли перед домом, звонко смеясь. Богатство, довольство, простор, солнце и тень, цветы и зелень... а в тюрьме-то узко, душно, темно. Не знаю долго ли я сидел, погруженный в горькие мысли, как вдруг камердинер с каким-то странным одушевлением позвал меня с террасы.

— Что такое? — спросил я.

— Да пожалуйста сюда, взгляните.

Я вышел, не желая его обидеть, на террасу — и обомлел. Целый полукруг домов пылал, точно будто все они загорелись в одно время. Пожар разрастался с невероятной скоростью.

Я остался на террасе. Камердинер смотрел с каким-то нервным удовольствием на пожар, приговаривая:

— Славно забирает, вот и этот дом направо загорится, непременно загорится.

Пожар имеет в себе что-то революционное: он смеется над собственностью, нивелирует состояния. Камердинер инстинктом понял это.

Через полчаса времени четверть небосклона покрылась дымом, красным внизу и серо-черным сверху. В этот день выгорело Лафертово. Это было начало тех зажигательств, которые продолжались месяцев пять; об них мы еще будем говорить.

Наконец, приехал и В. Он был в ударе, мил, приветлив, рассказал мне о пожаре, мимо которого ехал, об общем говоре, что это поджог, и полушутя прибавил:

— Пугачевщина-с, вот посмотрите, и мы с вами не уйдем, посадят нас на кол...

— Прежде, нежели посадят нас на кол, — отвечал я, — боюсь, чтоб не посадили на цепь. Знаете ли вы, что сегодня ночью полиция взяла Огарева?

— Полиция, — что вы говорите?

— Я за этим к вам приехал. Надобно что-нибудь сделать, съездите к князю, узнайте, в чем дело, попросите мне дозволение его увидеть.

Не получая ответа, я взглянул на В., но вместо его, казалось, был его старший брат, с посоловелым лицом, с опустившимися чертами, — он ахал и беспокоился.

— Что с вами?

— Ведь вот я вам говорил, всегда говорил, до чего это доведет... Да, да, этого надобно было ждать, прошу покорно, — ни телом, ни душой не виноват, а и меня, пожалуй, посадят, эдак шутить нельзя, я знаю, что такое казематы.

— Поедете вы к князю?

— Помилуйте, зачем же это? Я вам советую дружески, и не говорите об Огареве, живите как можно тише, а то худо будет. Вы не знаете, как эти дела опасны — мой искренний совет: держите себя в стороне; тормозитесь как хотите — Огареву не поможете, а сами попадетесь. Вот оно самовластье, — какие права, какая защита, есть, что ли, адвокаты, судьи?

На этот раз я не был расположен слушать его смелые мнения и резкие суждения. Я взял шляпу и уехал.

Дома я застал все в волнении. Уже отец мой был сердит на меня за взятие Огарева, уже Сенатор был налицо, рылся в моих книгах, отбирал, по его мнению, опасные и был недоволен.

На столе я нашел записку от М.Ф. Орлова, он звал меня обедать. Не может ли он чего-нибудь сделать? Опыт хотя меня и проучил, но все же — попытка не пытка и спрос не беда.

Михаил Федорович Орлов был один из основателей знаменитого Союза благоденствия, и если он не попал в Сибирь, то это не его вина, а его брата, пользующегося особой дружбой Николая и который первый прискакал с своей конной гвардией на защиту Зимнего дворца 14 декабря. Орлов был послан в свои деревни, через несколько лет ему позволено было поселиться в Москве. В продолжение уединенной жизни своей

в деревне он занимался политической экономией и химией. Первый раз, когда я его встретил, он толковал о новой химической номенклатуре. У всех энергических людей, поздно начинающих заниматься какой-нибудь наукой, является попользование переставлять мебель и распоряжаться по-своему. Номенклатура его была сложнее общепринятой французской. Мне хотелось обратить его внимание, и я, вроде *captatio benevolentiae*¹, стал доказывать ему, что номенклатура его хороша, но что прежняя лучше.

Орлов поспорил — потом согласился. Мое кокетство удалось, мы с тех пор были с ним в близких сношениях. Он видел во мне восходящую возможность я видел в нем ветерана наших мнений, друга наших героев, благородное явление в нашей жизни.

Бедный Орлов был похож на льва в клетке. Везде стукался он в решетку, нигде не было ему ни простора, ни дела, а жажда деятельности его снедала.

После падения Франции я не раз встречал людей этого рода, людей, разлагаемых потребностью политической деятельности и не имеющих возможности найтись в четырех стенах кабинета или в семейной жизни. Они не умеют быть одни; в одиночестве на них нападает хандра, они становятся капризны, ссорятся с последними друзьями, видят везде интриги против себя и сами интригуют, чтоб раскрыть все эти несуществующие козни.

Им надобна, как воздух, сцена и зрители; на сцене они действительно герои и вынесут невыносимое. Им необходим шум, гром, треск, им надобно произносить речи, слышать возражения врагов, им необходимо раздражение борьбы, лихорадка опасности, — без этих конфортивных² они тоскуют, вянут, опускаются, тяжелеют, рвутся вон, делают ошибки.

¹ Заискивания (*лат.*).

² Подкрепляющих средств *confortatif* (*франц.*).